

Й. АРНАСОН*

КОММУНИЗМ И МОДЕРН

Статья посвящена теоретическому анализу советской модели модерна. Выделяются основные интерпретации модерна в социологической теории. Рассмотрены формирование советской версии модерна, процессы социальной интеграции и дифференциации, кризисные явления в обществах советского типа. Проанализированы глобальная динамика советской модели, различные пути ее трансформации.

Ключевые слова: коммунизм, модерн, цивилизация, глобальная динамика, кризис, транзит.

Коммунистический период, занимавший центральное место в историческом опыте XX века, но неожиданно завершившийся в результате непредвиденного развития событий, в настоящее время повсеместно отвергается как неудавшаяся попытка восстания против модерна¹. Для победителей в холодной войне и формирующихся посткоммунистических элит наиболее удобный способ закрыть главу о коммунизме состоит в том, чтобы настаивать на его домодернистской, антимодернистской или псевдомодернистской сущности. Проблемы, которые данный идеологический подход исключает из рассмотрения, становятся более заметными, если мы допускаем, что исчезнувший тип общества (при всех его губительных недостатках и иррациональности) являлся особым, пусть в конечном итоге и саморазрушительным вариантом модерна, а не устойчивым отклонением от столбовой дороги модернизации. Если помещать коммунизм в спектр множественности форм модерна, то кризис и крушение советской империи могут пролить свет на вопрос об общих кризисных тенденциях, присущих модерну. В более практическом смысле проблемы посткоммунистического транзита предстают в новом свете, когда они рассматриваются как наследие

Арнасон Йохан (Arnason Johann) — профессор Карлова университета в Праге. Адрес: U Krize 8, 158 00, Praha 5, Czech Republic. Электронная почта: j.arnason@latrobe.edu.au

Перевод с английского — д. социол. наук М.В. Масловского с оригинала: *Arnason J. Communism and modernity // Daedalus. 2000. No. 1. P. 61–90.*

¹ Коммунистический проект может выглядеть попыткой восстановить домодерновый приоритет *Gemeinschaft*'а, программировать социальные изменения в изоляции от мирового общества или сохранять степень централизованного контроля, которая оказалась несовместимой с характеристиками для модерна императивами дифференциации. Все эти линии аргументации использованы П. Клермоном [3].

распадающейся модели модернизации. Обещание «шоковой терапии» могло приниматься всерьез лишь теми, кто ошибочно считал коммунизм тотальным отрицанием модерна, сменившимся полным распадом. Короче говоря, отказ от понимания коммунистического опыта как ответвления глобального процесса модернизации может стать препятствием для дальнейшего исследования новых горизонтов, открывшихся в результате его непредвиденного финала.

Но теоретические подходы к коммунизму как феномену модерна зависят от основных предположений о путях и средствах концептуализации модерна как такового, и соперничающие подходы к его интерпретации неизбежно должны получить отражение в столь же разнообразных описаниях интересующего нас случая. Поэтому прежде чем перейти к обсуждению исторической динамики коммунистических режимов, мы обратимся к более общим теоретическим основаниям. Моя аргументация является герменевтической в том смысле, что она ориентирована на определенную традицию и, опираясь на некоторые ее основания, в то же время обращена на решение проблем ее внутренних разногласий и возникающих в связи с этим дискуссий. Из анализа полемики по данному предмету можно сделать три основных вывода, которые и укажут направление для исследования более частных вопросов. Интерпретативная деятельность в этой традиции, сложившейся в результате попыток теоретически осмыслить модерн и модернизацию, прочно укоренена в определенный исторический контекст, что существенно для наших дальнейших размышлений. Однако общность тематического ядра не гарантирует теоретического консенсуса: историческое поле модерна открыто для рассмотрения с различных позиций, особенности которых находят выражение в устойчивых парадигмах социальной теории. Тем не менее, можно утверждать (это особенно важно для идеи множественности модерна), что общая проблематика смещается к более сложным образам модерна и что эта тенденция вывела на передний план культурные аспекты модерна.

Интерпретации модерна

Составлением перечня черт, отличающих общества модерна, мы едва ли достигнем поставленных целей; предпринятые ранее попытки составить такой перечень не дают оснований надеяться на достижение согласия относительно их содержания и критериев. Повидимому, следует принять тот факт, что в [сложившейся] традиции анализа и дискуссий выделились три различных контекста употребления понятия «модерн». Во-первых, в рамках истории мы говорим о периоде модерна, отмеченном инновациями и трансформациями, которые приняли радикальный характер в XVIII в., но имеют более ранние истоки, хронология которых остается предметом дискуссий (предвосхищения XII в. и прорывы XVI в. занимают видное место в

недавних интерпретациях). Во-вторых, идея модерна сохраняет привязку к определенному региону, сколь бы спорным это сегодня ни являлось. Западная Европа и ее заморские ответвления были первыми, кто испытал на себе наиболее заметные и важные по своим последствиям транзиты к модерну, однако этот факт проще отметить, чем дать ему такое теоретическое обоснование, которое бы не исключало другие направления поиска. Особую значимость западного пути к модерну можно признавать, не отрицая параллельных (хотя и более частичных) процессов развития в других регионах и уделяя должное внимание особенным вариантам тех образцов, которые хотя и были сначала изобретены на Западе, не насаждались им повсеместно. Однако такой сбалансированный подход все еще пребывает на стадии концептуализации. Наконец (что самое важное), рассматриваемые структурные аспекты связаны с набором их явно выраженных и устойчивых характеристик. Расширение и непрекращающиеся трансформации капиталистической экономики являются неотъемлемой частью современной констелляции, как и попытки приспособить капиталистическое развитие к стратегиям государственного строительства. На политическом уровне никакое описание модерна не может игнорировать нацию-государство, породившую новые формы идентичности с новыми механизмами контроля, однако эту картину дополняет демократическая трансформация, которая разворачивается внутри границ нации-государства, но порождает ожидания, выходящие за их пределы. Точно так же характерная для модерна погоня за научным знанием сопровождается противоположными течениями, которые ставят под сомнение его претензии являть собой триумф рациональности и конец иллюзии об [изначально] разумном устройстве мира. Конфликты между Просвещением и романтизмом — как и постоянные попытки их преодолеть — занимают центральное место в культуре модерна.

Но если мы можем легко выявить некоторые ключевые черты модерна, то значение образца модерна в целом (его пресуппозиция, импликации и возможные варианты) по-прежнему остается спорным. Разные теории модерна подходят к предмету с различных позиций, и до сих пор не было убедительных примеров их объединения. Наиболее многообещающим представляется признание сложности и неоднозначности рассматриваемого явления, что может послужить не только настойчивым вызовом устоявшимся и упрощающим идеям, но и источником альтернативных точек зрения для продолжения дискуссии. Развитие социологической теории в последнее время привело к явному, хотя и не бесспорному, сдвигу в этом направлении. Точнее говоря, изменение взглядов на соотношение единства и многообразия в современном мире открыло новые перспективы для более основательного анализа. Осознание многообразия конфигураций (различных

национальных, региональных и потенциально глобальных форм модерна) отражает более четкое понимание множественности уровней и компонентов в формировании обществ модерна. Многообразие вариантов предполагает множество составных частей и способов их соединения.

Ранние версии теории модернизации склонялись к выделению какого-то одного ключевого фактора или процесса, который, как предполагалось, играл центральную роль во всей динамике общественных изменений. Тем самым модернизация могла объясняться как глобальное следствие роста и распространения технических знаний или определяться с точки зрения предпосылок и следствий промышленного переворота. Тенденции, которые наиболее подробно анализировались с таких позиций (индустриализация, урбанизация, распространение образования, рост масштабов организаций и расширение коммуникаций), относятся к инфраструктурным аспектам модерна. Такие взгляды вели к видению единого мира, возникающего в результате глобального процесса модернизации, и были априорно невосприимчивы к самой идее о важности отклонений от общего образца. Однако их нивелирующую логику оказалось сложно согласовать с историческими фактами и опытом. Однофакторные объяснения уступили место системным моделям, учитывающим сложность модернизационных процессов и более пригодным для анализа институциональных структур. Осуществленный Т. Парсонсом анализ общества модерна служит примером как достоинств, так и ограничений этого подхода. Его описание общества модерна как системы отражает явную приверженность нормативным моделям его основных институтов (капиталистическая экономика, смягченная вмешательством государства; нация-государство, полностью адаптированное к требованиям демократической революции; индивидуалистическая этика, дополненная свободными ассоциациями). Но интерес к основополагающим образцам, которые первоначально считались теми, кто был увлечен модернизационными процессами, само собой разумеющимися, в долгосрочной перспективе приводил к новому пониманию модерна как нежестко структурированной констелляции, а не системы, а также к большему акценту на роли культурных предпосылок и ориентаций в формировании различных вариантов в рамках гибкой, но не аморфной структуры. Культурные факторы, оказавшиеся в фокусе внимания, могут включать альтернативные версии оснований модерна, как и выборочное заимствование домодернового цивилизационного наследия. Работы Ш. Эйзенштадта являются наиболее репрезентативным примером такого теоретизирования. Оно соединяет проблематику множественности форм модерна с анализом расходящихся тенденций и возможностей, имеющих общее происхождение.

Важнейшая (и до конца не исследованная) импликация этого культурального и плюралистического поворота связана с признанием внутренне присущей противоречивости модерна. Такие взгляды нашли выражение в плодотворных исследованиях, но они в течение долгого времени оставались маргинальными для социологической традиции (и особенно чуждыми преобладавшей версии теории модернизации). Рассматриваемые противоречия определялись разными способами, но в большинстве случаев они связывались с проблемой взаимоотношений между капитализмом и демократией, которые помещались в более широкий культурный контекст. Наиболее интересная и имеющая длительную историю версия такого подхода, первоначально предложенная М. Вебером и развитая в последнее время К. Касториadisом и А. Туреном, выделяет противоречие между двумя базовыми культурными предпосылками. С одной стороны, это видение непрерывно расширяющегося рационального господства; с другой — индивидуальное и коллективное стремление к автономии и творчеству. В данном случае очевидной является связь с проблематикой множественности модерна: обе тенденции открыты для разнообразных интерпретаций, а конкретные результаты их действия зависят от исторического контекста.

С этой точки зрения культурные ориентации, характерные для модерна, воплощены в определенных институтах, но несводимы к ним. Горизонты смысла (воображаемые значения, по Касториadisу), вступающие в игру на уровне культуры, — достаточно изменчивы, чтобы их можно было транслировать в различные институциональные образцы, и в то же время достаточно автономны, чтобы преодолевать рамки всех существующих институтов и допускать создание как критических альтернатив, так и утопических проектов. Видение непрерывно расширяющегося рационального господства наделяет смыслом и дает импульс развитию новых форм накопления богатства и власти, переопределению назначения богатства и власти и отношений между ними. Основные институциональные структуры этих инноваций (капиталистическая экономика и бюрократическое государство) основываются на результатах долговременных процессов, которым они придают большую рефлексивность и динамизм, но их культурный фундамент служит источником как рациональных проектов, так и воображаемых альтернатив. Что же касается другого основного течения культуры модерна, в котором представлены разнообразные интерпретации автономии, или утверждения субъектности, то здесь может быть полезным для начала снизить драматизм описаний того, как историческая динамика модерна включает беспрецедентное развитие способностей к самоопределению, самопознанию и самопреобразованию. Этот процесс может породить проекты самоопределения, бросающие вызов властным

структурам, оснащенным для экспансии рационального господства. Однако подрывной потенциал таких контртенденций в большей или меньшей степени нейтрализуется нивелирующими моделями инструментальной рациональности, логика которых подчиняет возросшую рефлексивность культуры модерна обобщенному стремлению к власти. Более сложные идеологические построения претендуют на то, что они нашли формулу, примиряющую стремление к прогрессу через господство с поисками освобождения индивидуальных и коллективных субъектов (как мы увидим, такие амбиции имеют решающее значение для коммунистического проекта модерна)².

² Оказывать влияние и дополнять указанные противоречия могут и другие конфликты. Недавние исследования культуры модерна по-новому осветили противоречия и взаимосвязи между Просвещением и романтизмом и показали, что для объяснения влияния романтизма на культуру модерна его нужно определять очень широко (а не концентрироваться, как это принято, на специфических эпизодах). В этой расширенной трактовке в романтизме можно видеть поиск новых источников смысла в ответ на разрушение смысла ориентированной на власть рациональности Просвещения; важнейшим источником смысла была идея внутренней и внешней природы (данная тема подробно рассмотрена в работах Чарльза Тейлора). Эта проблематика, несомненно, менее значима для нашей основной темы, чем внутреннее разделение Просвещения, связанное с постоянной напряженностью и потенциальным конфликтом между расширением рационального контроля и стремлением к автономии. В советской модели можно было бы увидеть образчик того, как «наиболее полная и стройная» версия Просвещения используется для того, чтобы снять остроту или вытеснить на обочину вызов со стороны романтизма. Однако на некоторые симптомы скрытой здесь проблемы, заслуживающие внимания, но выходящие за рамки настоящей статьи, следует кратко указать. Если марксизм пытался «соединить научный материализм со стремлением к экспрессивной целостности» [15, р. 409–410], то эту попытку синтеза нельзя было полностью нейтрализовать односторонне материалистической советской версией марксизма. Экспрессивная целостность стала ключевой темой западного марксизма, который, критикуя советскую теорию и практику, всегда признавал общность теоретического наследия, которое [в СССР] неверно применялось и было неверно понято [5]. Сходные идеи о самореализации человека имели существенное значение для диссидентского марксизма, который развился на западной периферии советской империи и оказывал некоторое влияние на идеологические конструкты реформистского коммунизма. Менее явным образом связь с романтизмом прослеживается в том отклике на политические проекты по всему миру, в которых увидели попытку оживить революционную субъектность (примером здесь служат идеи Ф. Кастро и Мао).

Достижения и ограничения

Охарактеризовав основную проблематику, которую рассматривали теоретики модерна, мы можем перейти к обсуждению феномена коммунизма в данном контексте. Будут выделены несколько взаимосвязанных аспектов, и в каждом случае акцент будет сделан на особой констелляции сил и принципов модерна, а также структурном пространстве для дальнейшей дифференциации.

Наиболее очевидным исходным пунктом (учитывая исторический опыт и проблемы, выделенные теорией модернизации на ранней стадии ее развития) является *модернизационная динамика* коммунистических режимов³. Основные модернизационные процессы были продолжены или инициированы, но они были структурированы таким образом, что их долговременная логика развития оказывалась искаженной или сталкивалась с препятствиями. Ускоренная индустриализация была важнейшей стратегической целью коммунистических режимов (и поначалу казалась легко достижимой), но критический анализ обнаружил причину упадка и кризиса в устаревшей модели модернизации⁴. Дело тут не просто в исторической инерции или пассивном копировании ранних стадий промышленного роста, а в том, что стратегия индустриализации была заключена в идеологическую проекцию прошлых образцов развития (принятие большевиками системы Тейлора служит примером более общего подхода). Упрощенный образ прошлого развития стал препятствием для инноваций.

В политической сфере коммунистические режимы преследовали некоторые важнейшие цели современного государственного

³ Ранние версии теории модернизации не игнорировали советский опыт [4]. Анализ советской системы, осуществленный Т. Парсонсом [10, р. 124–128], который незаслуженно восхвалялся некоторыми комментаторами после крушения советского режима, может считаться промежуточным между первой и второй стадиями теории модернизации (как они были определены выше). Согласно Парсонсу причиной несбалансированности советской модернизации стало развитие ее инфраструктурной стороны без необходимых институциональных рамок. Основные постпарсонсовские теории модерна (представленные в трудах Ю. Хабермаса и Э. Гидденса) немного добавили к нашему пониманию коммунистического опыта. Напротив, подходы, которые доминировали в сфере исследований советского общества и конкурировали между собой, не уделяли внимания советской модели как типу модерна. Ни сторонники теории тоталитаризма, ни представители социальной истории не видели в этом центральной проблемы.

⁴ У. Ростом описывал советскую модель индустриализации как такую, которая «смогла осуществить и даже расширить выпуск продукции, используя усовершенствованные технологии тяжелой промышленности периода до 1917 г.» [12, р. 63].

строительства, стремились к организационному и технологическому усилению государственной власти. В большинстве случаев они преуспевали в этом, либо брали власть в государствах, которые ранее обладали значительно меньшими возможностями контроля и мобилизации. Но соперничавшие центры коммунистического мира — Советский Союз и Китай — подчинили свои модернизационные стратегии воссозданию имперских структур, которые рухнули под напором конкуренции с более развитыми западными державами. Имперская модернизация породила экономические, политические и культурные образцы, препятствовавшие реформам, но в то же время поощрявшие чрезмерные и саморазрушительные амбиции (советская версия этого сценария дошла до своего завершения, тогда как китайская все еще претерпевает нескончаемые изменения). Распространение этой модели за пределы имперских границ привело к более или менее явным модификациям, которые сводятся к двум основным типам. С одной стороны, механизмы и институты, послужившие воссозданию империи на новой основе, использовались в меньших масштабах для поддержания контроля и насаждения повиновения на зависимой периферии (Советский Союз создал такую внешнюю империю в Восточной Европе, но не смог достичь такого же господства над азиатским коммунизмом, а затем истощил себя в конкуренции за гегемонию над Третьим миром; попытки Китая соответствовать этому аспекту советской стратегии были беспорядочными и неудачными). С другой стороны, советская модель была в некоторых случаях адаптирована к автономной стратегии государств, которые избежали советской гегемонии. Довольно неопределенный термин «национальный коммунизм» можно использовать для описания этого варианта, но в ретроспективе кажется очевидным, что опора на модели имперского происхождения являлась иррациональной: она служила оправданию чрезмерных амбиций и искаженных представлений о власти. Наглядными примерами служат здесь Албания, Румыния и Северная Корея⁵.

⁵ Югославия, которая долгое время ошибочно считалась примером национального коммунизма, представляла гораздо более аномальную линию развития. Там существовали определенные имперские предпосылки, хотя и не столь явно выраженные, как в России и Китае. Югославское государство, воссозданное коммунистами в 1945 г., состояло из частей двух исчезнувших империй. Этим квази-имперским измерением проекта можно объяснить истоки советско-югославского конфликта. Идеологической ереси вначале не было; скорее югославское руководство воспроизводило советскую модель таким способом, который казался советскому центру слишком амбициозным и самодостаточным. После конфликта югославскому руководству пришлось переопределить проект и консолидировать его поддержку внутри страны. В результате

Наконец, модернизация системы образования часто рассматривалась как одно из подлинных достижений коммунистических режимов. Но не менее известна и обратная сторона этих достижений. Образовательные и научные учреждения в целом были подчинены требованиям идеологии, которая претендовала на научность мировоззрения, но критиками характеризовалась как светская религия. Ее претензии на руководство естественными науками ограничивались в области теории и еще сильнее в области практики, но ее влияние было все же весьма ощутимым. В сфере же гуманитарных наук идеологические рамки имели гораздо большее значение: целые научные дисциплины подверглись делегитимации, насаждались одобряемые властями теории и запрещались подрывные направления исследований. В более общем и практическом смысле воздействие всеобъемлющей и обязательной идеологии (пусть даже она не проникла в общество столь же глубоко, сколь исторические религии) ограничивало роль рефлексивности в общественной жизни; способность противостоять проблемам и последствиям модернизационных процессов была подорвана апрорными ограничениями.

От Маркса до большевизма и далее

Неоднозначные результаты коммунистической модернизации поднимают вопрос о лежащих в ее основе целях и подходах: можно ли указанные несоответствия и препятствия объяснить особенностями коммунистического *проекта модерна*? Те, кто указывает на такую связь, должны учитывать следующее. Данный проект может восходить к основным принципам социалистической (конкретнее, марксистской) традиции или к ее маргинальной большевистской версии. Во втором случае существенное значение имеет связь с российской традицией, но остается дискуссионным вопрос о том, являлись ли российские предпосылки проекта более важными, чем исторический, цивилизационный и геополитический контексты, к которым приходилось адаптироваться революционным наследникам Российской империи.

Марксистский проект посткапиталистического модерна можно — в соответствии с нашими целями — суммировать в нескольких основных положениях. Маркс предвидел будущее, в котором «свободная ассоциация производителей» сделает излишними и государство, и

появилось уникальное сочетание контроля и уступок с характерной монополией партии на политическую власть, но гораздо менее ортодоксальными установлениями в экономической и культурной сферах. На более поздней стадии дезинтеграционный потенциал этой модели был усилен перераспределением власти между соперничавшими политическими центрами. Короче говоря, процессы модернизации фрагментировались дважды — по институциональным и национальным границам.

рынок. Существующие версии экономического и политического модерна должны быть преодолены, но предлагаемая альтернатива не была определена в институциональных терминах. На уровне культуры (Маркс говорит о «разрешении загадки истории») от коммунистического общества ожидалась радикальная переориентация, в которой дифференцированные сферы культуры — в ретроспективе — сводятся к выражению человеческой сущности, и более сбалансированное и сознательное развитие этой сущности надлежало установить в качестве высшей ценности культуры. При более внимательном рассмотрении аргументацию Маркса можно трактовать как традиционалистскую критику модерна, преобразованную в утопическое видение: «свободная ассоциация производителей» имела бы мало содержания без подразумеваемой ссылки на понятие общины [community] и общинного контроля над трудовой деятельностью, в то время как антропология культуры Маркса основана на нормативном образе человека, несомненно, связанном с классическими источниками европейской традиции.

Но в данном случае нас интересует не столько марксистский проект, сколько его большевистская трансформация. Стратегия большевиков приняла как должное критику Маркса и предложенное им устранение рыночных отношений (без адекватного понимания теоретических оснований этой критики). Более того, данная цель могла быть поставлена на практике в свете явного поворота от рынка к государственному регулированию в связи с Первой мировой войной. Хотя сегодня историки в основном согласны, что военная экономика западных держав была более эффективной по сравнению с Германией, сформировавшееся в Германии видение мобилизационной экономики, координируемой государством, производило большее впечатление на современников и часто ошибочно принималось (в том числе и левыми) за реалистичный проект. Уроки, извлеченные из этого представления, были, конечно же, интерпретированы на основе российской истории, осуществляемой государством имперской модернизации. Но марксистские предпосылки исключали малейший поворот к этатизму. Поэтому большевики должны были опираться на идеологический постулат об универсальном сверхгосударстве (партии), способном надзирать за самоустраниением обычного государства. Эта вообразимая конструкция (укорененная в длительной истории поиска модели революционного лидерства, способного бросить вызов имперскому центру и превзойти его) оказалась хорошо приспособленной к потребностям практической политики воссозданной империи с универсалистской идеологией. Мираж партии-государства, запрограммированной на то, чтобы через неопределенное время стать только партией без государства, был рационализирован с помощью научной стороны марксистской мысли. Антропология, которую

Маркс считал ключом к истории и культуре, была заменена, как считалось, безусловно научным подходом к человеческой природе и ее преобразованию, что в свою очередь должно было заложить основу для всеобъемлющего научного планирования социального и культурного развития.

Большевистский проект, коротко говоря, представлял собой соединение марксистских идей с менее осмысленными заимствованиями из российской традиции. Его смысл обозначился более четко, когда проект превратился в практическую альтернативу существовавшей западной версии модерна (что явилось случайным результатом взаимодействия глобальных процессов с региональными структурами, но пришедшие к власти революционеры рационализировали его в качестве результата системной логики, которая, согласно Марксу, должна была привести к более высокому типу модерна). Новое общество, строительство которого, как считалось, уже началось, должно было определяться относительно ключевых институциональных черт своего западного противника. В этом смысле анализ данного проекта связан со вторым уровнем теорий модерна, рассмотренных ранее. Краткое описание советского ответа на развитие капитализма, демократии и науки поможет прояснить эти вопросы. Во всех случаях претензии на то, чтобы превзойти западный модерн, соединяли критику существующих образцов с воображаемым выходом за их пределы, но каждый из трех компонентов требовал особого отношения. Капиталистическая экономическая система отвергалась в принципе и заменялась плановой экономикой, но элементы капиталистической организации (начиная с форм оплаты труда и фрагментированных, но не полностью утративших значение рынков) были сохранены на практике и молчаливо признавались как необходимые для ориентированной на рост экономики. В то же время экономический и технологический динамизм капиталистической системы должен был быть превзойден с помощью рационального планирования. Что касается демократии, советская модель отвергала институциональные рамки, созданные на Западе, но делалось это во имя якобы подлинного единства воли народа и государственной власти, что стало возможным благодаря отмене классовых привилегий. Попытки присвоить и наполнить иным содержанием идею демократии (в противоположность явно антикапиталистическому видению экономики модерна), однако, предполагали формальные уступки — внешние атрибуты конституционного и представительного правления, которые могли быть реально использованы оппозиционными силами, когда вся эта модель переживала кризис. Наконец, амбиции превзойти Запад были наиболее выражены в науке: официальная доктрина представляла себя как всеобъемлющее научное мировоззрение, которое обеспечит подлинный прогресс науки, затрудненный в буржуазном мире классовыми интересами и реакционными идеологиями.

Интеграция и дифференциация

Как уже отмечалось, вопрос о российских источниках советской модели относится также к адаптационному процессу, который происходил после захвата власти. Проблемы, ограничения и потенциальные возможности имперского наследия наряду с глобальным соперничеством с более развитыми обществами повлияли на возникший *тип общества модерна*, который стал общим для коммунистических режимов. Первоначальный проект, рассмотренный выше, сыграл ключевую роль в формировании данного типа общества, но оно не может считаться всего лишь воплощением этого проекта. Логика проекта взаимодействовала с динамикой множественных исторических констелляций, а результаты такого взаимодействия несводимы к какой-то одной из его сторон. Как мы увидим, особое значение имели культурные аспекты этого развития. Культурный компонент не может быть сведен к явно выраженной и институционализированной идеологии. В экономической и политической сферах ключевую роль играли не вполне артикулированные, но культурно заданные определения целей и направлений — не в качестве программных принципов, но как элементы более сложной комбинации.

В контексте сравнительного подхода к обществам модерна советскую модель можно анализировать в терминах особых форм дифференциации и интеграции. С этой точки зрения коммунистическая модель может казаться предельным случаем преобладания интеграции, что часто считается характерным для стран, поздно вступивших на путь модернизации [9]. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что интеграционные механизмы качественно отличаются от некоммунистических случаев. Наиболее заметной чертой советской модели являлось слияние экономической, политической и идеологической власти, что воплощалось в аппарате, нацеленном на всеобъемлющий контроль над всеми сферами общественной жизни. Концентрация власти нашла свое институциональное выражение в партии-государстве, но кажется очевидным, что имперские представления (видение высшей власти и суверенитета, выходящих далеко за рамки практического контроля) способствовали формированию новой структуры власти, даже если результаты этого могли быть применены в государствах, не имевших имперских традиций. Попытка осуществления тотального контроля была, однако, не единственной стратегией интеграции. Когда критики коммунистических режимов говорили о «культе плана», который не затронули официальные кампании против «культы личности», имелась в виду не только фиктивная статистика. Скорее укорененная в культуре иллюзия быстрого достижения изобилия посредством тотальной социальной мобилизации — в рамках экономики, нацеленной на удовлетворение постоянно растущих потребностей —

являлась интегральной частью модели и источником перемежавшихся реформистских и революционных проектов. Подобным же образом миф о научном мировоззрении поддерживал представления о научной организации, которые также могли быть перенесены в планы дальнейшей рационализации модели в целом. Коротко говоря, коммунистический проект модерна был ориентирован на накопление богатства, власти и знания с возможностью сосредоточения на каком-либо из этих компонентов в качестве движущей силы прогресса. Но поскольку осуществлением власти, реализацией планов и поддержанием контроля занимался политический центр, мы можем говорить о первенстве политического, а специфическая форма, которую оно приобрело в советской модели, являлась тоталитарной [1].

Это, однако, — лишь одна стороной общей картины; другая ее сторона связана с проблемой дифференциации. Часто утверждается, что фатальный недостаток советской модели и основная причина, по которой она не могла выдержать конкуренцию с Западом, состояли в блокировании процесса дифференциации. С такой точки зрения коммунистические режимы были неспособны адаптироваться к универсальной функциональной логике общества модерна. Но рассматриваемая нами констелляция, вероятно, может быть лучше описана как соединение чрезмерной интеграции и крайней степени дифференциации (в том смысле, что процесс дифференциации происходил вне определенных институциональных рамок).

Чтобы прояснить данное положение, следует рассмотреть под иным углом зрения три взаимосвязанных принципа организации: командную экономику, партию-государство и идеологическую ортодоксию. Каждая из этих сфер руководствовалась особой логикой, которая приводила к возникновению закрытых и самовоспроизводящихся форм. Во всех трех случаях цель заключалась в том, чтобы соединить контроль и мобилизацию: централизованное планирование следовало совместить с непрерывным технологическим прогрессом; партийный суверенитет — с активным, но направляемым участием; неизменные доктринальные принципы — с неограниченным ростом научного знания. Эти институционализированные иллюзии были различными способами адаптированы к контексту и динамике соответствующих сфер. В экономике всеобъемлющее планирование (включая, как мы видели, догматизированную модель промышленного развития) являлось неотъемлемой частью коммунистического проекта. Но возникшая конфигурация экономических практик, обладавших разной степенью институционализации, представляла собой неустойчивое смешение командных механизмов, элементов рынка и более или менее неформальных сетей. Как навязанные сверху структуры, так и адаптационные стратегии, делавшие их жизнеспособными, были препятствием для каких-либо реформ, а идеологические представления,

надстраиваемые над одновременно зарегулированной и недостаточно институционализированной экономикой, — дополнительным барьером на пути изменений. Подобным же образом создание идеологической ортодоксии для контроля над сферой культуры вызывало непредвиденные последствия. Идеологический каркас советской модели основывался на соединении различных традиций (марксистские идеи объединялись с менее заметными заимствованиями из других источников, российских и западных), но сама искусственность этого синтеза требовала сохранения видимости единого целого. Хотя способы использования идеологии в обществах советского типа предполагали изменчивое смешение приверженности и манипулирования, необходимость сохранения целостного мировоззрения в качестве единственно возможного создавала условия, которые ограничивали восприятие, познание и инновации во всех сферах жизни. Наконец, особая логика политической сферы отличалась от экономических и идеологических тенденций в том, что она породила различные варианты партии-государства. Харизматический вариант достиг высшей точки в автократии, тогда как более рационализированный вариант усилил олигархический контроль над аппаратом (следует отметить, что понятия харизмы и рациональности приобрели специфическое значение в контексте советской модели; их общим знаменателем являлись претензия на авторитетное знание и на его основе мандат на переустройство общества). Разновидности этих альтернативных типов режима воздействовали на всю институциональную структуру рассматриваемых обществ. Переход от автократии к олигархии в Советском Союзе после 1953 г. является здесь очевидным примером; в отличие от этого китайские реформы после смерти Мао оказались более зависимы от принципа верховного лидерства и в меньшей степени были способны сдерживать изменения в рамках системы. В данном случае отход от автократии совпал с началом длительного сдвига в направлении капиталистического пути развития.

В довершение картины следует отметить значение каждой из трех сфер, выделяемых по структурным основаниям и заключенным в них возможностях, в попытках реформировать или революционизировать советскую модель изнутри. На плановую экономику, в которой видели воплощение принципов, не затронутых бюрократическим «перерождением» в сфере политики, молилась революционная оппозиция, не желавшая окончательно порывать с режимом. Но вера в то, что этот краеугольный камень всего коммунистического проекта был восстановлен после временной утраты контроля, также способствовала мобилизации поддержки сталинской «революции сверху». Однако более важно, что в период правления Хрущева между 1956 и 1964 гг. необходимость экономического прорыва считалась ключом к возрождению внутри страны и успеху на международной арене. В других

поворотных пунктах попытки реконструировать или перепроектировать всю модель сопровождались пересмотром базовых идеологических постулатов, но инновации подобного рода могли принимать самые разные направления: от маоистской культурной революции, на одном полюсе, до интеллектуальных проектов Пражской весны — на другом. Что же касается проектов политических изменений, выходящих за пределы партии-государства, тут выделяются два случая: предпринятая в 1968 г. в Чехословакии попытка переопределить руководящую роль партии и предложение Горбачева ввести разделение властей, придав вес представительным институтам. Именно последний шаг, менее радикальный, оказался более судьбоносным, поскольку был нацелен в самый центр советского имперского порядка и привел к общему и окончательному кризису.

Коротко говоря, внутренняя динамика советской модели являлась более сложной, чем это принято считать. Хотя модель функциональной дифференциации здесь, конечно же, неприменима (что на самом деле требует более общей критики, не входящей сейчас в нашу задачу), мы можем говорить об особом типе дифференциации. Основные сферы общественной жизни структурировались вокруг определенных смысловых форм и механизмов приспособления к существующим ограничениям. Возникавшие в результате компромиссные варианты, особые для каждой сферы, препятствовали дальнейшему развитию, но могли также в ситуации неопределенности способствовать возникновению идеи обновления.

Перманентный кризис

В свете вышесказанного мы можем теперь рассмотреть вопрос об особой *кризисной динамике*, присущей коммунистической версии модерна. После крушения большинства коммунистических режимов и длительного, но безусловно глубокого изменения китайского режима более не осталось сомнений в том, что эти режимы навязывали свои собственные конститутивные образцы обществу, но не достигли глубоких и всесторонних трансформаций своих обществ, к которым стремились. Степень частичной трансформации и взаимной адаптации различалась от случая к случаю, но кажется уместным говорить о постоянной напряженности между режимом и обществом. Теоретики тоталитаризма видели в этой ситуации своего рода состояние гражданской войны, прерываемой периодическими перемириями. В менее апокалиптическом тоне один из историков советского периода писал о «режиме кризисного управления на протяжении 74 лет» [13], который так и не перерос в действительно стабильный порядок.

Наш анализ советской модели предполагает более специфическое понятие кризисного управления. Рассматриваемый режим был не просто неспособен достичь устойчивого баланса между целями и

средствами. Кризис, с которым он сталкивался, являлся неизбежным результатом его претензий на преодоление другого кризиса, а поиски решения возникавших проблем существенно влияли на ход развития, но не привели к созданию жизнеспособных альтернатив преобладавшей модели. Как было показано, проект, развившийся в советскую модель, был рационализирован в качестве ответа на предполагаемый структурный кризис западного модерна. Противоречия и дисфункции, укорененные в динамике капитализма, но получившие отражение во всех сферах жизни модернизовавшихся обществ, должны были устраняться путем перестройки всего процесса вокруг определенного набора целей и эффективного координирующего центра. Но модель, которая выросла из этого проекта, взаимодействуя с более широким историческим контекстом, воспроизвела кризисные тенденции модерна в более острой форме. Ее основные компоненты (командная экономика, партия-государство и тотальная идеология) вдвойне способствовали дисфункциональным тенденциям: их институциональная закрытость препятствовала обучению и изменениям, тогда как заложенные в них нереальные цели порождали несбалансированные проекты. Более того, оба этих аспекта препятствовали взаимной адаптации между режимом и обществом.

С такой точки зрения советская модель может рассматриваться как постоянно подверженная действию кризисных тенденций, хотя влияние и направление таких тенденций зависели от исторических обстоятельств. У этой проблемы была, однако же, и другая сторона. Структура советской модели налагала специфические и значительные ограничения на рефлексивность, но не полностью ее устраняла. Идеологическая самоинтерпретация коммунистических режимов отвечала на кризисные симптомы, и это приводило к выработке стратегий их преодоления, которые могли отличаться разной направленностью. С одной стороны, присущее модели самомнение порождало видение революционной мобилизации и очищения сверху; классическими примерами здесь служат сталинская смена курса в конце 1920-х гг. и маоистская культурная революция. С другой стороны, сдвиг от автократии к олигархии в СССР после 1953 г. поставил на повестку дня вопрос о реформах, но это создавало возможность подлинных разногласий и стратегического манипулирования. Широко обсуждавшиеся шаги по усилению роли рыночных механизмов в рамках в целом плановой экономики были не единственным возможным вариантом. Те, кто противился проникновению рыночных элементов, в ряде случаев склонялись к технократическим вариантам реформ (эта тенденция была в течение некоторого времени особенно выражена в Восточной Германии), и даже официальное переопределение социализма как относительно длительной стадии постепенного развития (в отличие от

более раннего видения ускоренного перехода к коммунизму) может быть истолковано как оправдание политики минимальных реформ.

Изменения изнутри

Как отмечалось, попытки изменить направление или ускорить развитие в рамках коммунистических режимов часто связывались с выбором какой-то одной сферы в качестве наиболее перспективной исходной точки для более широких *структурных изменений*. Но, в общем, поиск «лекарств» шел постоянно, был более или менее артикулированным ответом на кризисные симптомы и мог вестись реформистским или революционным путем. Это приводит нас к следующему вопросу: означали ли самые далеко идущие инициативы такого рода выход за рамки стратегии плановых преобразований и открытие перспективы для менее контролируемых изменений? Что касается революций сверху, имеющиеся факты не дают однозначного ответа. Сталинская «вторая революция» [16], которая началась в конце 1920-х гг. и продолжалась целое десятилетие, сформировала советскую модель, но приобрела явно патологические черты, которые не имели пока адекватных объяснений в структурных или стратегических терминах. Попытки представить чистки 1936–38 гг. как результат социальных конфликтов, вышедших из-под контроля, не являются убедительными [11]. Что же касается маоистской версии, она, возможно, нанесла китайскому коммунизму непоправимый ущерб. После возвращения к власти Дэн Сяопина в конце 1970-х гг. в Китае не произошло полной реставрации советской модели, а экономические реформы, сопровождавшие институционализацию партийного правления, могут рассматриваться сегодня как начало китайского транзита к посткоммунизму. Но остается неясным, была ли эта неспособность к полному восстановлению обусловлена внутренней динамикой китайского режима. Изменившийся глобальный и региональный контекст, безусловно, имел здесь значение; в особенности доступность альтернативных стратегий направляемого государством развития по примеру соседних стран Восточной Азии должна была стимулировать отход от советской модели.

Реформистские усилия с большой долей вероятности могли вывести за рамки существующей модели. Основным примером здесь служат реформы в Чехословакии в 1960-е гг., кульминацией которых стала Пражская весна 1968 г. Несомненно, это была самая серьезная попытка переопределить коммунистическую парадигму модерна таким образом, чтобы она стала более жизнеспособной внутри страны и более привлекательной на международной арене. Ее можно анализировать под различными углами зрения. Проект, который пытались осуществить реформаторы вплоть до советского вторжения, можно охарактеризовать как стремление найти квадратуру круга. Подлинные

и далеко идущие шаги по демократизации политической системы следовало сочетать с переопределенной, но отнюдь не номинальной «руководящей ролью партии». Радикальную реформу, которая не могла не восприниматься как вызов советской модели, следовало осуществлять без значительных изменений в геополитических структурах власти. Во внутренней политике реформаторы начали изменения, которые неизбежно реактивировали вопрос о взаимоотношениях двух наций, имеющих общее государство. Хотя движение отличалось возмраставшим интеллектуальным плюрализмом, одно из наиболее сильных течений в нем ориентировалось на идею «научно-технической революции» — новой стадии технологического прогресса, рассматривавшейся как исторический шанс реструктурировать модель, которая уже явно демонстрировала неспособность угнаться за трансформационной динамикой западных индустриальных обществ. Но в период наиболее активной фазы движения (и особенно во время краткосрочного правления реформаторов в 1968 г.) эти несовместимые устремления породили общественные дискуссии, представлявшие собой наиболее значительную попытку саморефлексии в рамках коммунистического режима и обладавшую трансформационным потенциалом, который выходил за границы управляемых реформ. Более того, процесс, который начался в результате реформистских инициатив, по-видимому, достиг точки невозврата. Стремление к плюрализму и открытости было столь велико, что ход событий едва ли можно было обратить вспять без иностранной интервенции⁶.

⁶ Этот тезис не может получить бесспорное доказательство, но подробный анализ Пражской весны показывает, что процесс реформирования уже нельзя было остановить изнутри [14]. Много было сказано о реформистском движении в Чехословакии, и гораздо меньше — о чехословацком примере в целом. Он, однако же, представляет особый интерес для сравнительного анализа коммунистических режимов. Это было наиболее развитое общество, попавшее под коммунистическое правление, но, тем не менее, в нем сложились и внутренние предпосылки для переворота, а последующая социальная трансформация сопровождалась формированием особенно жесткой и подчиненной центру версии советской модели. Возникший в результате этого кризис породил самый серьезный проект реформирования коммунизма, но этот поиск альтернативы был подавлен внешними силами до того, как полностью проявились его внутренние проблемы, а его поражение привело к делегитимации реформизма. Наконец, восстановление режима, не обладавшего легитимностью, привело к социальному и культурному параличу. Но, несмотря на это, оказался возможным особенно быстрый и плавный выход из коммунизма, когда изменились геополитические условия и псевдореалистическая утопия возврата к «нормальным» западным формам модерна на некоторое время стала казаться более правдоподобной, чем где-либо еще в посткоммунистическом мире.

Проект, который привел к радикальным и необратимым изменениям, попытку Горбачева реструктурировать советскую империю, пожалуй, лучше всего понимать как смесь реформистских и революционных элементов. Цель проекта — всесторонняя структурная реформа ненасильственными методами и без подрыва существующего институционального порядка. Но он напоминал революцию сверху, поскольку новая политика была инициирована руководством, искавшим для нее социальную базу, и не был результатом взаимодействия между разделенным [на ветви власти] центром и широким реформистским движением (этот вариант изменений был наиболее характерен для Чехословакии). Итоги этой двусмысленной стратегии будут рассмотрены далее в связи с другими вопросами, связанными с концом коммунистической модели и ее последствиями.

Коммунизм на мировой арене

Если советская модель рассматривается как альтернативная форма модерна, то следует учитывать ее глобальное воздействие и самопрезентацию. Она не просто существовала наряду с другими образцами. Скорее ее претензии на универсализм и всемирно-историческое значение были воплощены в институциональных и идеологических принципах, а вовлеченность коммунистических режимов в международные дела разными способами влияла на другие аспекты их истории: как на внутренние структуры власти, так и на официальное самопредъявление. Важнейшее место (особенно для всего коммунистического мира) занимал Советский Союз. Идея мировой революции играла здесь центральную роль в стратегии, которая фактически привела к воссозданию империи, а имперские элементы постреволюционного государства облегчили пересмотр основополагающего мифа и принятие проекта самодостаточной трансформации («социализм в одной стране»). Но скорректированная идеология по всему миру вызвала доверие, которое усиливало и амбиции, и образ Советского государства как мировой державы. Впоследствии сочетание имперских и идеологических элементов обеспечивало легитимацию положения сверхдержавы в биполярном мире и устраняло сомнения относительно способности советского режима поддерживать такой уровень глобальной мобилизации.

Глобальная динамика и внутреннее развитие взаимодействовали сложными и изменяющимися путями. Глобальное присутствие и престиж советского режима были чрезвычайно важны для его легитимации внутри страны; это было связано не только со статусом сверхдержавы после 1945 г., но и — в разной степени в различные периоды — с претензиями советской модели на универсализм и контролем над международным движением. Тем не менее советская гегемония ставилась под сомнение в рамках расширяющегося коммунистического

мира. Конфликты с советским центром легитимировали режимы, впадавшие в националистический уклон (хотя это оказалось менее эффективным, чем считали многие наблюдатели). Но самый серьезный вызов был брошен единственной страной, которая могла стремиться стать альтернативным идеологическим и геополитическим центром. Маоистская ересь угрожала превратиться в соперничающую ортодоксию другой сверхдержавы и, хотя она не достигла этой цели, ее подрывное влияние на саму идею коммунизма как объединительного процесса не следует недооценивать. В то же время китайско-советский раскол обострил другую проблему, свойственную соединению империи и партии-государства. Явно выраженный идеологический компонент советской стратегии усиливал разрыв между амбициями и ресурсами, что было характерно уже для дореволюционной российской империи. Хотя было бы неверно описывать траекторию советского государства как непрерывную экспансию, мы можем говорить о постоянном перенапряжении (очевидном в наращивании военной мощи даже когда оно не было заметно на политическом уровне), которое усугубляло кризисные тенденции. Это не означает, что ответы на проблемы глобальной стратегии всегда были иррациональными. Есть основания полагать, что реформы Хрущева и горбачевская перестройка были в значительной степени мотивированы осознанием необходимости рационализировать внешнюю политику. Но ограниченный успех первого из этих проектов проложил путь к длительной фазе неупорядоченного стремления к гегемонии, тогда как второй проект запустил саморазрушительные процессы.

Существует однако же и другая сторона вопроса о коммунизме в глобальном контексте, которая связана с восприятием, проекциями и интерпретациями коммунистического опыта за пределами его собственной сферы и их влиянием на идеи и действия в некоммунистическом мире. Коммунизм в качестве международного движения не был лишь ответвлением или продолжением коммунизма у власти. Подчинение советскому центру не предотвращало формирования разнообразных коммунистических субкультур. Некоторые из них были более сильными и явно выраженными, а поскольку они реагировали на проблемы и трансформации модернизирующихся обществ, то они заслуживают по меньшей мере упоминания в контексте наших размышлений о коммунизме и модерне [7]. Конфликты между стратегией коммунистического режима и устремлениями коммунистического движения привели к отделению радикальной группы. Эта альтернативная версия коммунизма — революционная оппозиция, группировавшаяся вокруг троцкистского движения — так и не вышла за рамки секты, но ее длительное существование и вклад в критический анализ советского феномена (часто продолжавшийся на новых основаниях теми, кто покинул ряды движения) завоевали ей место в истории политической мысли XX в.

Кроме того, стремление извлечь уроки из советской модели характеризовало не только тех, кто полностью отождествлял себя с ее идеологическими постулатами, и сторонники извлечения различных уроков могли вести между собой борьбу за власть (первый и наиболее значительный конфликт такого рода развернулся между Гоминьданом и китайскими коммунистами в 1920-е гг.). В дальнейшем постколониальные элиты считали привлекательными советские методы контроля и мобилизации. Распространение частичных имитаций, как разнообразные «афромарксистские» режимы, казалось бы, сделало перспективы советской экспансии более вероятными, чем это видится сегодня, но изменение глобального соотношения сил вынудило такие государства изменить свой курс и добиваться самосохранения иными способами.

Более широкий спектр западных взглядов на советскую модель и их исторических следствий также имеет отношение к нашей теме. Коммунистическая альтернатива возникла в условиях катастрофического крушения западного модерна (Первой мировой войны); она оформилась, когда западный мир испытал глобальный кризис, высвободивший разрушительные силы в развитых обществах; в течение некоторого времени она представляла собой серьезный вызов западному блоку. Все эти причины привели к тому, что западные наблюдатели преувеличивали масштабы и потенциал альтернативной версии модерна. Иными словами, советская модель представляла собой цивилизационный мираж. Лишь немногие интерпретации такого рода явно основывались на понятии новой или особой цивилизации, но этот термин казался уместным сторонникам как положительной, так и негативной оценки данного явления [6; 17]. Для тех, кто придерживался наиболее благожелательного взгляда на цивилизационные достижения коммунизма, центральное значение имела его предполагаемая способность примирить стремление к рациональному господству посредством науки со свободой через участие, что, как уже отмечалось, представляло собой два противоречащих друг другу аспекта модерна. Привлекательность этого мифического образа целостного модерна зависела от местных и исторических условий, но он часто оказывал влияние за рамками строго ортодоксальных субкультур и тем самым добавлял еще одно измерение к глобальному присутствию коммунизма. Однако те, кто отвергал коммунистический режим как модерн без свободы, часто отмечали наличие в его институтах особой, всеобъемлющей и самовоспроизводящейся логики, но расходились во мнении относительно ее источников. Некоторые исследователи связывали советскую модель с технологиями надзора и бюрократического контроля, повсеместными в обществе модерна, но достигшими предельного развития в условиях партии-государства и превращенными в систему тотальной власти. Другие выдвигали концепцию идеократии, чтобы описать новый тип господства, нацеленный

на тотальное подчинение общества и истории идеологической конструкции (наиболее спекулятивная версия такой аргументации возводит истоки коммунизма к гностическим течениям в западной религиозной традиции [2]).

Несмотря на такие разногласия, указанные теории сходились на уровне стратегической оценки: общей для них была тенденция, распространению которой они способствовали, рассматривать коммунистическую структуру власти как более монолитную и устойчивую, чем она была в действительности. В ретроспективе кажется сложно отрицать, что восприятие коммунизма в качестве угрожающей альтернативы приводило к переоценке его силы. Это относится к его идеологической динамике в начальной стадии холодной войны (классическим примером служит предложенное Жюлем Монеро описание коммунизма как ислама XX века [8]), значительному преувеличению перспектив его экономического роста в хрущевский период и военной мощи в последние два десятилетия его истории.

Крушение и транзит: коммунистические траектории в ретроспективе

Последний вопрос, который следует затронуть, связан с *глобальным крушением*, положившим конец советской модели как функционирующему образцу модерна (хотя оно само по себе не определило дальнейшего развития). После этого крупнейшего исторического сдвига некоторое распространение получили два неверных представления. Преувеличенные представления о роли общественных движений по-прежнему сильны, хотя не требуется подробного изучения фактических данных, чтобы показать, что саморазрушительная динамика режимов, охваченных кризисом, являлась несравнимо более важной. Последний аспект однако же представлен в упрощенном виде с позиций другого подхода: в данном случае советская модель предстает как иррациональная экономическая система, банкротство которой стало очевидным, когда были исчерпаны возможности отклонений от нее в экономической и политической сферах. Этот упрощенный взгляд вызывает возражения как эмпирического, так и теоретического характера. Несмотря на то, что экономики всех коммунистических стран сталкивались с растущими структурными проблемами, различия по глубине и характеру этих проблем были слишком большими, чтобы только ими можно было бы легко объяснить каскад крушений между 1989 и 1991 гг. Более того, китайский транзит, несомненно, уже вышедший за рамки советской модели, характеризовался адаптивной трансформацией экономических структур, явно отличавшейся от более привычных (хотя никогда полностью не реализованных) проектов мгновенного и полного воссоединения с казавшейся универсальной западной моделью. В общем экономические

недостатки советской модели должны анализироваться с учетом стадий ее развития и тех сфер, где она оказалась не в состоянии конкурировать с развитыми капиталистическими странами, а не на основе абстрактных утверждений о ее дисфункциональности.

Предложенная здесь интерпретация не преуменьшает саморазрушительного потенциала советской модели. Но должно быть ясно, что рассматриваемые институциональные образцы допускали использование стратегий нейтрализации, компенсации и отклонения, что позволяло коммунистическим режимам справляться с повторяющимися кризисами. Некоторые хронические структурные слабости (отличавшие экономику столь же неспособную к инновациям, сколь и не отвечающую запросам потребителей) долгое время перекрывались успешным достижением более значимых стратегических целей. Частичные уступки (особенно после 1956 г.) могли служить преобразованию или рутинизации взаимоотношений между государством и обществом и предотвращению угрозы открытого конфликта, а стратегическое сочетание геополитической активности с постепенным ростом уровня жизни (характерное для раннего брежневского периода) можно рассматривать как попытку избежать открытого столкновения с более фундаментальными проблемами. Поэтому окончательное соскальзывание за точку невозврата можно понять только в контексте исторических условий, которые усугубляли структурные проблемы и навязывали новые решения, сопровождавшиеся непреднамеренными последствиями. Более того, необходимо учитывать двойственный характер крушения: внутренний для каждого отдельного режима и разворачивающийся в глобальном контексте. Мы можем пока лишь наметить общее направление дальнейшего анализа. Коротко говоря, следует различать пять вариантов отказа от модели и последующего транзита. Самоликвидация советского имперского центра выглядела наиболее эффективно и имела решающее значение. В данном случае проект политических реформ, призванный рационализировать и цивилизовать имперские властные структуры, породил дезинтеграционный процесс, который вскоре вышел из-под контроля. Стратегия системной адаптации была подорвана невниманием к некоторым проблемам (как динамика наций и национализма) и непоследовательным подходом к другим (особенно в экономической сфере). Ускорение изменений в Советском Союзе и заметное ослабление имперского контроля проложили путь для более быстрого транзита в Восточной Европе, где структурная слабость зависимых режимов привела к тому, что первые шаги к демополизации власти быстро переросли в их полный крах. В сочетании с центробежными стратегиями политических элит в различных советских республиках этот геополитический провал стал сильным ударом по легитимности и самооценке советского центра и тем самым ускорил его крушение. Китайский транзит шел собственным путем: в ретроспективе кажется ясным, что характерное для советской модели сочетание

партии-государства и командной экономики не могло быть восстановлено после упадка маоизма в конце 1970-х гг. Мы можем тем самым говорить о более длительном, автономном и во многих отношениях еще не завершенном выходе из коммунизма. В данном контексте советский пример рассматривался как двойной урок: он выявил потребность в сохранении монополии партии на власть, а также и в разработке альтернативной экономической стратегии. Четвертую категорию образуют небольшие государства, находившиеся вне сферы прямого советского или китайского контроля, но с неизбежностью затронутые кризисом, который развернулся в глобальных масштабах. Как скорость, так и способ транзита здесь существенно различаются (рассматриваемые случаи включают Албанию, Вьетнам, Северную Корею, а также «афромарксистские» режимы). Общий знаменатель может быть найден только в стратегиях и динамике местных властных элит, приспособляющихся к резкому изменению исторической ситуации относительно контролируемым способом. Наконец, Югославию следует рассматривать как особый случай. Аномальный вариант советской модели, который долгое время считался более способным к адаптации, чем другие, потерпел крушение особенно насильственным путем, и национальные конфликты затмили все другие проблемы.

Но если мы соглашаемся с тем, что могут быть разные пути выхода из коммунизма и что результат этого является неопределенным (в России в большей степени, чем в Восточной Европе, а в Китае в большей степени, чем в России), то необходимо признать, что ретроспективный анализ коммунистического опыта не может быть столь окончательным, как это нередко утверждалось. Наш взгляд на исторические пути к коммунизму, опыт коммунизма и выход за его пределы зависит от перспектив, открытых последующими событиями, а более подробное сравнение различных траекторий может раскрыть новые аспекты рассматриваемой проблемы. Мы не отрицаем, что интерпретации коммунизма как всемирно-исторического явления (в том числе и в наших собственных работах) до сих пор основывались главным образом на примерах, наиболее заметных с западной точки зрения (Советский Союз и Восточная Европа), а китайская глава его истории менее известна и в меньшей степени подвергнута теоретическому анализу. Это не является всего лишь следствием европоцентристской предвзятости. Фундаментальные вопросы о значении и направлении китайской трансформации остаются открытыми, и они связаны с более общими проблемами. Более того, общепринятый взгляд на историю Китая, включая коммунистический период, подвергается пересмотру таким образом, чтобы прийти к более сбалансированной точке зрения на уникальный образец взаимодействия между процессами трансформации в китайской империи, влиянием западной экспансии на восточно-азиатский регион и распространением западных идеологических альтернатив. Но на самом фундаментальном уровне по-прежнему остается верным, что долгосрочная

цивилизационная динамика Китая представляет собой один из наиболее значительных вызовов западной теории и историографии. Коротко говоря, одного взгляда в этом направлении достаточно, чтобы предостеречь нас об ограниченности наших интерпретативных схем.

Дальнейшее исследование проблем Восточной Азии выходит за рамки данной работы. Возможно, полезнее сделать несколько заключительных замечаний относительно более завершенной и лучше известной российской части истории коммунизма, рассматриваемой на фоне неопределенных перспектив китайской трансформации. История большевизма до 1917 г. может рассматриваться как формирование особого проекта, а захват власти представлял собой важный шаг к новой идентичности, хотя основные действующие лица избегали обсуждения этого вопроса, настаивая на связи с воображаемой мировой революцией. Последующий сдвиг в сторону более явного выдвижения отдельного проекта («социализм в отдельно взятой стране») сопровождался формированием властных структур, которые воспринимались как частичное и уязвимое воплощение данного проекта. Возобновление проекта как революции сверху в конце 1920-х гг. должно было завершить структурную и институциональную трансформацию, которая ранее блокировалась неблагоприятным раскладом сил, но результатом стала (как отмечалось выше) сложная структура, которая характеризовалась напряженностью и дисбалансом и не могла быть сведена к идеологическим или идеократическим конструктам.

В более широкой исторической перспективе разрывы и мутации, которые преобразовали большевистскую субкультуру в новый социальный строй, могут рассматриваться также как поворотные точки в длительном процессе взаимодействия России и Запада. В результате усиления контактов и более широких заимствований отношение России к западному миру приобрело черты цивилизационного столкновения и конфликта (среди ранних представителей критической теории периода между двумя мировыми войнами Франц Боркенау, по-видимому, осознал значение этой предпосылки большевизма лучше, чем кто-либо другой). Имперские правители выдвигали более или менее радикальные стратегии вестернизации, но их трансформационные проекты всегда являлись частичными и поэтому зависели от сохранения или даже усиления некоторых традиционных структур; эта двусмысленность отражалась в перемежавшихся поворотах к традиционализму. Хотя большевизм возник в этом поле расходящихся традиций, его метаморфозы после крушения старого порядка в 1917 г. привели к формированию модели, которая избирательно включала в себя и наследие имперской трансформации сверху, и революционное видение нового строя. Такое слияние противоположностей выходило за пределы традиционных барьеров, а носители соперничавших идеологий были уничтожены в ходе революционного сдвига. И наследие революции сверху как стратегии государственного строительства, и

утопия радикальной революции как пути к свободе были преобразованы в новые идеологические модели, которые претендовали на обладание универсальной, исключительной и окончательной истиной. В таком качестве воссозданная и заново артикулированная традиция, как было показано, послужила структурированию особого варианта модерна. С этой точки зрения, российский опыт является еще одним напоминанием о сложном соотношении цивилизаций и форм модерна (пример Восточной Азии уже упоминался). Сравнительный анализ цивилизационных элементов в различных формах модерна тем самым является в конечном итоге не менее релевантным для коммунистического опыта, чем для более традиционных случаев, даже если наше обсуждение может лишь наметить данную линию исследования.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Arnason J.* Totalitarianism and modernity // The totalitarian paradigm after the end of communism / Ed. by A. Siegel. Amsterdam: Rodopi, 1998. P. 151–179.
2. *Besançon A.* The rise of the Gulag: Intellectual origins of Leninism. New York: Continuum, 1981.
3. *Clermont P.* Le communisme à contre-modernité. Paris: Presses Universitaires de Vincennes, 1993.
4. *Inkeles A.* Social change in Soviet Russia. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1968.
5. *Jay M.* Marxism and totality. Berkeley: University of California Press, 1984.
6. *Kolakowski L.* Communism as a cultural formation // Survey. 1985. Vol. 29. No. 2. P. 136–148.
7. *Lazar M.* Maisons rouges: Les parties communistes françaises et italiennes de la Libération à nos jours. Paris: Aubier, 1992.
8. *Monnerot J.* Sociology of communism. London: Allen and Unwin, 1953.
9. *Murakami Y.* Modernization in terms of integration: The case of Japan // Patterns of modernity / Ed. by S. Eisenstadt. London: Pinter, 1987. Vol. 2. P. 65–88.
10. *Parsons T.* The system of modern societies. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1971.
11. *Rittersporn G.* Stalinist simplifications and Soviet complications: Social tensions and political conflicts in the USSR, 1933–1953. New York: Harwood Academic Publishers, 1991.
12. *Rostow W.* Eastern Europe and the Soviet Union: A technological timewarp // The crisis of Leninism and the decline of the Left: The revolutions of 1989 / Ed. by D. Chirot. Seattle: University of Washington Press, 1991.
13. *Sakwa R.* Russian political evolution: A structural approach // Rethinking the Soviet collapse / Ed. by M. Cox. London: Pinter, 1998. P. 181–201.
14. *Skilling H.G.* Czechoslovakia's interrupted revolution. Princeton: Princeton University Press, 1976.
15. *Taylor Ch.* Sources of the Self. Cambridge: Harvard University Press, 1989.
16. *Tucker R.* Stalin in power: The revolution from above, 1928–1940. New York: Norton, 1990.
17. *Webb B., Webb S.* Soviet communism: A new civilization. London: Longmans, 1944.